

СЕВЕР

Александр МАЛЫШЕВ

НА КРЕСТЕ

повесть

Михаил ЖАРАВИН

ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ

повесть

Валентина АЛЕКСАНДРОВА

ПОСЕЩЕНИЯ ДОЛИНЫ МЕРТВЫХ

статья

Юрий КИЛИН

ББК КАК ФАКТОР

ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ

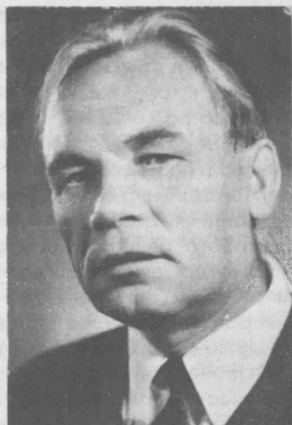
статья

7

1995

Эйно КАРХУ

Эйно Генрихович КАРХУ родился в 1923 году в Ленинградской области. Доктор филологических наук. Автор двенадцати книг и многочисленных статей по истории финской литературы, финско-русским литературным связям, фольклору и литературе Карелии. Член Союза писателей России. Лауреат Государственной премии КАСР. Живет в Петрозаводске.



У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ ВОЙНА

1. Сначала о старшем брате

Каждый побывавший на войне и оставшийся в живых навсегда сохранил если не шрамы от ран на теле, то шрамы в собственной душе. Пережитое на войне долго не оставляло в покое людскую память, снилось ночами, заставляло солдат вскрикивать от повторяющихся сновидений. Особенно в первые послевоенные годы мужские беседы при встречах обычно сводились к фронтовым воспоминаниям. Да и в нашей литературе военная тема до последнего времени оставалась преобладающей и самой популярной в читательских кругах.

Могу сослаться на пример моего ныне уже покойного старшего брата Ааппо, фронтовика, работавшего после войны сначала путевым рабочим и затем мастером околотка на Сортавальской железной дороге. До поры до времени, пока у него сохранялись еще остатки здоровья и возможность заняться после основной работы другими делами, он не был большим охотником до чтения романов. Но выйдя на пенсию и вскоре разбитый на полтора десятка лет параличом, он пристрастился к чтению, читал с утра до вечера, признавая при этом только романы о войне. Особо понравившиеся книги он перечитывал по многу раз, и они так будоражили его память о пережитом на войне им самим, что порой он тихо плакал слезами больного и ослабшего человека, и тогда его приходилось успокаивать и отвлекать разговором на какую-нибудь другую тему, чтобы он отложил на время книгу.

А в первые послевоенные годы, еще до

чтения романов, их заменяли устные беседы. Сразу после демобилизации из армии в самом конце 1945 года я и сам проработал следующую весну и лето на Сортавальской железной дороге вместе с братом, а потом, будучи уже студентом, навещал его во время каникул, помогал косить сено, работать на огороде, заготавливать на зиму дрова. Работы хватало, приходилось крутиться целый день, а косить я предпочитал даже ночью, тогда было прохладнее и роса устойчивее. Зато вознаграждением за все труды были наши летние банные вечера по субботам, когда можно было насладиться покоем и неторопливой беседой.

Говорил больше брат, а я слушал. Он был фронтовик, мое же участие в войне сложилось иначе, о чем ниже. Но и на мою долю выпало предостаточно испытаний, чтобы никогда о них не забыть, и в беседах наших не было перерывов. Мы лежали возле бани на свежей траве, вода в котел и баки была уже нанесена, каменка топилась, спешить в ожидании удовольствия было некуда.

А кругом была такая благодать! Мой брат жил тогда в уединенном финском железнодорожном домике в двух километрах от города Сортавала. Природа там живописнейшая, недаром те места иногда называют северной Швейцарией. Ландшафт холмистый, у озер высятся прибрежные скалы и лесистые пригорки, по склонам раскинулись поля и луга. Тамошние пейзажи тогда сохраняли еще специфически финские черты, это была более окультуренная сельская местность и с иными традициями, чем традиции в Восточной Карелии. Финны издавна любили

строить свои жилища на возвышенности или даже на скалах, а не в низинах или на болотах. Вокруг финских домов обычно растут деревья, к тому же по веснам берега Ладоги и озер поменьше сплошь утопают в цветущей черемухе, замечательно воспетой финской поэтессой Эйлой Кивикахо, уроженкой тех мест. На тогдашнем ландшафте и строениях еще не было печати запущенности и того равнодушия к своему окружению, которые так стали удручать впоследствии; и сама Сортавала с ее белыми зданиями производила тогда еще впечатление чистенького курортного городка.

На фоне этой мирной благодати и тишины, нарушаемой разве только колокольчиками пасущихся поодаль коров, мы вспоминали в наших «банных» беседах о разных случаях на войне, о том, сколько пришлось испытать всяких ужасов и лишений, и нам самим начинало казаться почти невероятным, что мы смогли вытерпеть все это и остаться в живых. И вообще, из разговоров со многими, особенно моими одногодками, можно было заметить одно: уцелевшие на войне считали свое спасение чудом.

Только впоследствии, когда постепенно и очень осторожно стала приоткрываться глубоко засекреченная статистика о наших людских потерях на войне, подтвердилась обоснованность того удивления спасительному чуду: в официальной печати промелькнуло сообщение, что из родившихся в начале 1920-х годов юношей на войне уцелело лишь двое из ста (!). Есть над чем поразмыслить уцелевшим — и над счастливым капризом собственной судьбы, и над трагическим исходом павших.

Мой старший брат вернулся с войны без особых боевых наград. Правда, медаль «За победу над Германией» полагалась каждому фронтовику и даже солдатам тыловых служб, но к моменту демобилизации огромной массы людей медалей всем не хватило, и брату (как и мне в моей части) выдали просто справку. А справка при бесчисленных послевоенных хлопотах и переездах — для воссоединения с семьей, эвакуации, поисков работы и жилья — могла надолго остаться не востребованной и без последствий, чтобы затем затеряться окончательно. Да и Бог с ними, наградами, — быть бы живу. Без особых обид отсутствие награды брат объяснял тем, что героических поступков в его послужном списке, наверное, не было; он воевал на Ребольском направлении, где фронт на несколько лет стабилизировался, и вдобавок армейское начальство, возможно, было к нему слишком пристрастным за острый язык, за нетерпимость к разного рода несправедливостям.

Брат нередко и сам ругал себя за неумение держать язык за зубами, но такой уж у человека был характер. Он и после войны нарывался из-за этого на разного рода неприятности — просто по той причине, что не переносил открытого вранья и так называемой «показухи», приправленной к тому же еще всякими благопристойными заявлениями. Ну зачем, говорил он с досадой, нужно было ему, мастеру железнодорожного околота, регулярно при закрытии месячных нарядов обязательно завышать реальную выработку рабочих? Скажем, сменила бригада по 8 шпал в день на человека, а записывать приказывают 12 — зачем? Затем, объясняют, что нормы такие и что рабочим нужно вывести сносную зарплату — иначе разбегутся. Но почему нельзя платить те же деньги без приписок и обмана, за действительно сделанную работу? Однажды он не вытерпел и выступил против этой и прочей лжи на официальном производственном совещании в присутствии большого начальства. В зале многие тихонько заулыбались, а председательствующий кратко резюмировал: «Товарищ Карху, вы ведь знаете, что вся наша дорога, в том числе ваш околоток, участвует в социалистическом соревновании и борется за высокие производственные показатели». После такого, по словам брата, оставалось только выскочить из зала, купить бутылку водки и до одури напиться. А ведь с подобной «показухой» жила не одна Сортавальская дорога, а и вся огромная страна. Как путейщик он боялся, что при продолжающемся обмане не миновать железнодорожных катастроф. К счастью, до катастрофы страны он не дождался.

Из позадалых правительственных признаний, из маршальских мемуаров и трудов военных историков, из документальных художественных произведений и свидетельств рядовых фронтовиков мы теперь знаем, что на войне проклятая показуха, страсть не в меру честолюбивых военачальников выдать желаемое за действительное оборачивались ничем не оправданной гибелью сотен тысяч людей.

Мы скорбим о погибших и стараемся очиститься от прежней застарелой лжи, но тут же спохватываемся, не обволакивает ли нашу сегодняшнюю жизнь — после трагического Афганистана — очередная новая ложь, с новых театров войны.

2. О себе, семнадцатилетнем

Мой брат был старше меня на пятнадцать лет — в молодости разница огромная, даже несоизмеримая. Я внимательно слушал его

послевоенные рассказы не из одного лишь уважения к возрасту — в них чувствовался выстраданный опыт зрелой жизни. К тому же он был фронтовик, закончивший войну в самой Германии, а я остался в основном стройбатомцем-тыловином, по-настоящему не нюхавшим пороха.

Помню, лет десять-пятнадцать тому назад мне прислали приглашение из Повенецкой средней школы, которую я окончил в 1941 году, принять участие во встрече выпускников-ветеранов с нынешними школьниками и рассказать им о войне. Но я должен был уклониться от встречи, хотя знал, что в живых нас, тогдашних выпускников 1941 года, осталось совсем ничего. Ведь от нас, приглашенных, ожидали рассказов о личных боевых подвигах, исповедей о ратном героизме непосредственно на поле брани, от которых заблестели бы мальчишеские глаза, а что мог я им рассказать? Что меня вскоре после призыва почему-то изъяли из действующей армии — то ли из-за моей финской фамилии, то ли еще по какой-либо причине? Но наверняка не для этого меня приглашали на ту самую встречу со школьниками.

Повенецкую школу я окончил как раз накануне войны, аттестаты зрелости нам вручили примерно за неделю до ее начала. Я родился 27 ноября 1923 года, и мне тогда было полных семнадцать лет. Мои родители были так называемыми спецпереселенцами, ссыльными из раскулаченных ингерманландских крестьян, и нормальных советских паспортов с правом свободных переездов по стране нам не полагалось. Но я уже тогда знал, что исключение делалось для тех детей ссыльных, которые после окончания средней школы хотели учиться дальше в иногородних университетах и институтах. В старших классах школы это еще больше подстегивало мое желание учиться — я хотел стать образованным и свободным советским гражданином с нормальным паспортом. Паспорта в СССР выдавались шестнадцатилетним, но я мог получить его только после окончания десятилетки.

Поэтому сразу же после школьного выпускного вечера с вручением аттестатов зрелости я отправился в Ленинград, чтобы в областном архиве отыскать регистрационную книгу о своем рождении и получить соответствующее свидетельство, обязательное для получения паспорта. Сотрудница архива ссылалась на чрезмерную занятость и на то, что моя регистрационная книга могла завалиться где-нибудь в темном подвале, но я умолял ее — мне нужна была свобода, и сотрудница оказалась доброй женщиной и в тот же день выдала мне желанное свидетельство.

Но возникло куда более страшное препятствие — в Ленинграде меня застало начало войны.

Впрочем, в первые дни люди еще не успели как следует испугаться, по крайней мере в той ингерманландской деревне, в которой я остановился у своих родственников. Воскресным вечером — в первый день войны — мы с двоюродным братом отправились на танцы в соседнюю деревню километра за три, на ропшинском шоссе заметили группы военных, устанавливавших нечто похожее на зенитные пулеметы, в остальном же вокруг царил тишина и спокойствие, танцы состоялись, причем в еще не сожженной приходской лютеранской церкви, давно уже не действовавшей после запрета богослужений.

Редко кто — и меньше всего я — мог догадываться о масштабе скорых бедствий, особенно для ленинградцев. Лишь через несколько дней я отправился на электричке в город, чтобы купить обратный билет на поезд в мурманском направлении. На вокзале ощущалась некоторая паника, масса людей, желающих выехать, металась от кассы к кассе, билеты уже не продавались, и говорили, что обычные пассажирские поезда вообще не отправляются, все занято военными. Кто-то подсказал мне, что на север есть возможность выехать водой хотя бы грузовым парходом, и я побежал в грузовый порт, где договорился с командой маленького суденышка и в тот же вечер отправился по Неве — Ладоге — Свири — Онежскому озеру до места своего назначения. Нет нужды говорить, что в те дни я еще не понимал, сколь близко я был от того, чтобы надолго застрять в Ленинграде и остаться в кольце блокады, — об этом у меня было время подумать впоследствии.

По возвращении в Повенец я быстро получил паспорт в райцентре — Медвежьегорске — и вдобавок даже приписное свидетельство в райвоенкомате, где меня поставили на учет как потенциального военнопленного. О немедленном призыве в армию мне ничего не сказали, а когда я по еще не изжитой наивности спросил, можно ли мне поехать куда-нибудь учиться, определенно-го ответа тоже не последовало.

Два месяца я проработал на оборонных работах — рыли бомбоубежище, помогали восстанавливать один из разрушенных вражеской авиацией шлюзов Беломорско-Балтийского канала. А потом, 6 сентября 1941 года, решил еще раз заявиться в райвоенкомат, чтобы выяснить, что же мне все-таки делать, к чему готовиться. Мысль о возможной учебе уже слабела в моем сознании, но еще не угасла окончательно. Навер-

ное, я допускал, что меня могут не взять пока в армию либо по возрасту, поскольку мне не исполнилось еще восемнадцати, либо по какой-нибудь другой причине, и тогда не следует терять времени даром — уж очень хотелось учиться.

В райвоенкомате у меня взяли мой новехонький паспорт с приписным свидетельством и сказали, что с этой минуты я мобилизован и направляюсь в расположенный в Медвежьегорске же запасной полк для прохождения дальнейшей службы. Я спросил, можно ли мне съездить на несколько часов в поселок Пиндуши (в восьми километрах от Медвежьегорска), где жили тогда мои родители, но мне сказали, что нельзя. Тогда я попросил разрешения связаться по телефону с конторой поселка, чтобы сообщили родителям, где я нахожусь и куда направляюсь. Вечером приехала мать, разыскала меня в запасном полку, попрощалась в слезах на виду у солдат, оставила немного еды, — и больше я ее уже никогда не увидел: она скончалась в эвакуации в Киргизии в 1944 году, незадолго до того, как мне удалось наконец сложным окружающим путем получить известие, куда были эвакуированы мои родители. Потом после войны, когда я сам приехал в Киргизию и узнал, что туда были эвакуированы из Карелии многие семьи ингерманландских финнов из числа «спецпереселенцев», среди них немало молодых людей призывного возраста, проработавших всю войну в киргизских совхозах, я понял, что если бы не мое появление тогда, 6 сентября 1941 года, в Медвежьегорском райвоенкомате, я был бы через две недели отправлен в эвакуацию вместе со своими сородичами и провел бы всю войну на поливных конопляных плантациях Киргизии, где северяне страдали от жары и почти поголовно переболели малярией, которую не все старые люди выдерживали, в том числе мои родители. Мой отец умер годом раньше матери.

Но обо всем этом я узнал только потом, с большим опозданием. А в сентябре 1941-го в моей недолгой еще жизни произошла перемена — я был призван в армию. Не сказал бы, что это очень удивило меня тогда или застало врасплох, — я ведь внутренне готовился к этому, даже ждал почти с нетерпением. Надо же понимать психологию в чем-то ущербленного, в чем-то неполноправного человека, особенно молодого, жаждущего самоутверждения. С детских лет, уже в хибинской ссылке на Кольском полуострове, когда даже в пионерских автобиографиях подобные мне должны были официально именоваться «кулацкими сыновьями», во мне зрел вызов-протест, желание во что бы то ни стало доказать, что я не хуже других,

а в чем-то, может быть, даже лучше. Эта постоянная рана-обида может отравить все живое в ребенке, унижить и испоганить его душу, но она может и подстегивать его: ни за что не сдаваясь, докажи, что они обманываются в тебе, считая неполноценным и достойным сожаления. Без этого привитого жизнью комплекса обиды-протеста не обошлось и в моей армейской службе. В своем иступленном самоутверждении семнадцатилетний юнец мог быть даже доволен, что ему наконец доверяют винтовку и отправят на войну.

Между тем главная причина столь поспешного со мной обращения в райвоенкомате отчасти стала открываться мне уже в запасном полку, почти сплошь состоявшем в тот момент из вчерашних заключенных-уголовников, только что выпущенных из лагерей с условием, что они готовы отправиться на фронт и сражаться за отечество. В роте, в которую меня зачислили, таких новобранцев было процентов девяносто, и там мне довелось впервые познакомиться с лагерными нравами. Во время учебы в Повенце я видел только издали колонны заключенных, а в числе моих однокашников в школьном интернате были дети из семей охранного лагерного персонала — лагерей на Беломорканале хватало.

Из политических заключенных в армию едва ли кого брали, в роте были люди, что называется, отпетые, общение с ними явилось серьезным испытанием. Я и раньше был знаком с русской матерщиной, но у них она достигла таких изощренных форм, что их язык был для меня на первых порах попросту непонятен, многое воспринималось как совершенно беспричинное оскорбление. Для них такие, как я, были только что вылупившимися желторотыми цыплятами, с которыми не стоило особенно нянчиться, и они без стеснения обкладывали нас отборными ругательствами. Самое удивительное, что некоторых из них назначили командирами отделений и даже помкомвзводами, и их командирский язык был часто столь же изощренным. Признаться, иногда мы, желторотые, всхлипывали втайне от оскорблений и по поводу, и без повода. Попадались среди тогдашних сослуживцев и по-своему очень даже чувствительные люди, любившие рассказывать вечерами соседям по нарам душещипательные воровские истории либо пересказывать пользовавшиеся таким же успехом у слушателей давно прочитанные приключенческие романы про графов и графинь. Рассказчиков с таким талантом ценили, упраскивали продолжать. Даже у меня спрашивались, не помню ли я про какую-нибудь занимательную книгу, но для подобной

аудитории требовался особый интригующий талант, которого у меня не обнаружилось.

Такой же была среда и на армейских курсах санинструкторов, на которые из нашего запасного полка отобрали человек сто наиболее грамотных. Курсы были организованы сначала в Петрозаводске, потом — с приближением фронта к городу — переведены в Медвежьегорск. Там, в больничных помещениях и зданиях местного санатория, размещались военные госпитали с ранеными, за которыми нас учили ухаживать. При первых посещениях палат с тяжелоранеными нам приоткрывали кровавый лик войны, мы видели ряды молодых людей с ампутированными конечностями, роковыми ранениями в живот, предсмертными хрипами от пневмотораксов, и к этому трудно было привыкнуть, подавать чувство растерянности и дурноты. Тяжело раненный в живот, весь посеревший и, похоже, умирающий мужчина лет тридцати посмотрел на меня и спросил слабым голосом, сколько мне лет. Ответ, как и мой не ахти какой солдатский вид, огорчили его, он сказал, что повидал таких на передовой и что им лучше было бы побыть еще рядом с мамой.

Фронт между тем приближался и к Медвежьегорску, нам было уже не до учебных занятий, круглые сутки мы вывозили раненых из госпиталей и грузили в санитарные поезда для эвакуации в глубокий тыл. Сначала это были еще хорошо оборудованные носилками на пружинах специальные пассажирские вагоны, потом стали подавать товарные составы с двухъярусными нарами, а перед тем, как оставить город, тяжелораненых привозили прямо с передовой, после оказания самой первой помощи, укладывали на пол вагонов. С последним санитарным эшелоном уехали и мы. В нашем переполненном вагоне всю ночь громко стонал на полу раненый, жалуясь на нестерпимый холод в искромсанной ноге, и я рядом с ним на корточках беспомощно обещал как-то согреть ему ногу.

В южном направлении от Медвежьегорска железная дорога была уже перерезана, и наш окружной путь лежал на север к Обозерску и затем через Вологду на запад к станции Оять. Наш путь длился целый месяц, с многократными длительными остановками, во время которых мы доставляли из других поездов раненых в тыловые госпитали. Только изредка мы в своих теплушках занимались учебой, все происходило в большой спешке. Наконец уже в прифронтовой полосе в районе Свири нас высадили из поезда и дополнительно чуть подучили, чтобы подготовиться к экзамену. В основном это касалось умения делать разные пере-

вязки, накладывать шины на переломы, останавливать жгутами сильное кровотечение. Учили элементарным уколам, предлагая делать их друг другу, но я колол себя сам, не доверяя другим.

Наступил экзамен, все прошло успешно, только вот присутствовавший при распределении по воинским частям командир вдруг спросил меня:

— Ну вот ты, финн, попадешь на передовую — сигнальных ракет противнику запускать не будешь?

Тогда я еще не знал, что это, видимо, был особист-контрразведчик, но даже в устах особиста это звучало уж слишком грубо, словно удар хлыстом по беззащитному лицу, отчего можно было взвизгивать. Почувствовав неловкость положения и, вероятно, пожалев меня, женщина-врач из комиссии поспешила заверить: ну что вы, с ним все будет в порядке, — дескать, он ракет пускать не будет. Что ж, и на том спасибо.

Впрочем, на фоне нынешней нашей жизни, когда прежде единая страна распалась и когда толпы граждан эмигрируют куда глаза глядят, эти обиды и болячки довоенных юнцов могут показаться совершенно пустячными, своего рода детской болезнью — и в прямом, и в переносном смысле. Что там ни говори, а понятие родины в наши дни подверглось сильной инфляции, патриотизм нынче у многих не в почете, в само это слово зачастую вкладывают взаимоисключающие значения, каждое из которых удовлетворяет только одну сторону, но не всех остальных. После длительного периода идеологического конформизма эти сложные и противоречивые процессы переоценки ценностей застали нас врасплох, мы начинаем только привыкать к ним, хотя в мире нечто подобное происходило уже давно: были и эмиграционно-иммиграционные потоки из страны в страну, и крушение государственных идеологий, и драматическая ломка социальной и национальной психологии отдельных людей.

В свое время финский писатель Вяйне Линна, чьи романы в немалой степени способствовали переоценке официозно-патриотической идеологии, господствовавшей в Финляндии вплоть до окончания войны, утверждал, что новые поколения уже не довольствуются лишь требованием жертвенного служения родине — они сами предъявляют спрос к родине, требуя достойной жизни и гражданских прав.

И все-таки при всех сдвигах и преходящих нюансах понятие родины включает в себя и нечто устойчивое, с чем человеку свойственно связывать лучшие надежды и без чего ему бывает очень трудно.

Сегодня мы понимаем, что наш довоенный идеал родины был слишком уж узкоклассовым, дистиллированно-пролетарским. Детьми мы пели: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». И внушаемый нам патриотизм был предельно жертвенный: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это».

Однако, чтобы понять психологию довоенного поколения, необходимо обязательно учесть, что была в тех песнях и подлинная романтика, которую не уничтожить никакой запоздалой иронией. Почему-то я и сейчас не готов и не хочу смеяться над своим поколением — слишком много трагического было в его судьбе, достаточно вспомнить о тех двух из ста оставшихся в живых.

Трагизм был в самих надеждах и верованиях людей. К сожалению, в истории человечества во все эпохи даже самые лучшие идеалы добра и справедливости оказывались на поверку в чем-то односторонними и ущербными, при практическом их осуществлении заводящими в тупик. Некогда французский мелкобуржуазный социолог-уравнитель анархистского толка Пьер Жозеф Прудон выдвинул знаменитую формулу: «Собственность есть воровство». Теперь мы вновь обожествляем собственность в иллюзорной надежде сделать всех богатыми, но результат пока прямо противоположный. Вывернутая наизнанку односторонность проявляется и в частностях. Прежняя романтика пионерских костров и «красных дьяволят» была односторонней, но разве жертвенная романтика белой гвардии, всех этих корнетов Оболенских и поручиков Голицыных в нынешних песнях менее односторонняя?

Все это я говорю к тому, чтобы не подвергалась сомнению искренность моего поколения. Ведь и те обиды, о которых упоминалось выше, вызывались как раз неверием в искренность тысяч мне подобных — в этом было наше несчастье в эпоху всеобщей подозрительности.

Нас учили жертвенности и в общем-то преуспели в этом. В особенности когда война принимала все более трагический оборот и прояснялось, что она надолго, с мыслью о вероятной гибели солдатам приходилось свикаться.

Но в атмосфере подозрительности оказывалось, что и в этом случае соблюдалась некая политическая избирательность, градация благонадежности, с чем постоянно приходилось сталкиваться на практике.

При нашем распределении после поспешных экзаменов выяснилось, что человек тридцать курсантов, в том числе я, были направлены в одну из стрелковых дивизий под Ло-

дейным Полем (кажется, это была 314-я дивизия). Всех остальных из тех тридцати, как я понял, распределили по ротам и батареям на передовую, но меня оставили при штабе дивизии, похоже, из-за моей финской фамилии. Как вскоре обнаружилось, мне вроде бы даже повезло — в смысле некоторых штабных удобств и перспективы на выживаемость, но возникал вопрос: почему именно со мной поступают так, а не иначе? Почему бывшим уголовникам доверяют, а мне — нет, даже не выдали личного оружия? И это при том, что еще в пути во время наших долгих странствий по железным дорогам некоторые из бывших эзков дезертировали, попросту исчезли в неизвестном направлении.

В штабе дивизии я очутился во второй половине ноября 1941 года; вскоре мне исполнилось восемнадцать лет, формально я стал совершеннолетним. Меня определили при начальнике санитарной службы дивизии (сокращенно: начсандив); мы даже жили в одном штабном блиндаже, хотя для меня это было довольно большой начальник. Вначале с нами был еще военфельдшер, мужчина уже под пятьдесят, который вел служебное делопроизводство, но потом его откомандировали, и делопроизводство перешло мне, поскольку выяснилось, что я могу грамотно писать. Вскоре сменился и начсандив, вместо военврача за пятьдесят и довольно замкнутого по характеру пришел военврач лет 37—40, очень понравившийся мне своим общительным и ровным поведением. Мне даже фамилия его запомнилась: Жаворонков; звали его, кажется, Александр Иванович.

Вначале в мои обязанности входило топить буржуйку в блиндаже, убирать и таскать воду, приносить начсандиву пищу из полевой кухни, иногда перевязывать раненых и выдавать простейшие лекарства. Вскоре мне доверили делопроизводство (чему я очень удивлялся, поскольку бумаги были с грифом «секретно»). В отсутствие начсандива — а он был постоянно с утра до ночи в разъездах по частям дивизии, — посыльные приносили к нам в блиндаж ежесуточные донесения из полков о количестве и передвижении больных и раненых; обычно это происходило во второй половине дня, часам к 5—6 вечера, и на основе этих донесений я готовил общую сводку по дивизии, все подсчитывал и начисто переписывал, а черновики сжигал в печке. После этого я ждал возвращения начсандива иногда за полночь, успевал даже вздремнуть; по возвращении он быстро проверял сводку и подписывал, после чего я бежал с пакетом в специальный отдел дивизионного штаба, который отправлял эти данные в штаб 7-й армии. Это повторялось каждый день, я быстро освоился с

делом, перезнакомился с посыльными, задержавшимися подчас на минутку, чтобы согреться у печки перед обратной дорогой. Начсандив был приветлив со мной, никогда не допускал начальственных окриков, за утренним чаем легко вступал в беседу, и за одну эту простоту в обращении я очень уважал его, в моей памяти он на многие годы остался образцом по-настоящему интеллигентного человека. Разумеется, более всего меня в том возрасте подкупали в нем, годившемся мне в отцы, его корректность и вежливость, по-доброму снисходительное отношение к солдатику-юнцу — и тогда, когда он показывал, как получше наложить повязку, и тогда, когда учил заваривать по вкусу чай.

Он, конечно, знал, почему я был оставлен при штабе дивизии, подальше от передовой, хотя даже намека об этом никогда от него не слышал. Но я-то не мог не задумываться над этим — и при удобном случае еще и еще раз не попытаться удостовериться в том, как же ко мне все-таки относятся.

Никаких особых замечаний от начальства я не получал, иногда меня как финна привлекали для разных поручений, например, просили позаниматься с группой штабных офицеров-южан элементарной ходьбой на лыжах.

Как-то ночью — а было это либо в самом конце ноября, либо в начале декабря 1941 года — меня разбудили и велели срочно собраться и идти вместе с нарочным. Это был, кажется, даже не рядовой солдат-нарочный, а офицер (хотя слово «офицер» тогда еще в Красной Армии не употреблялось, офицерские звания были введены позже). Привели меня в один из штабных блиндажей, — как оказалось, это был блиндаж командира дивизии, более просторный и с электрическим освещением от движка. Комдива я тогда увидел впервые, с ним было еще несколько старших командиров, а на полу на носилках лежал раненый финский летчик, накануне взятый в плен. Выяснилось, что меня вызвали как переводчика для допроса военнопленного. Это был еще совсем молодой человек, и из вопросов к нему следовало, что еще в предшествующие недели финский разведывательный самолет многократно совершал облет наших позиций и ближайших тылов; его обстреливали, но безуспешно, поскольку он появлялся неожиданно; но вот накануне, как полагали, все тот же самолет был сбит при возвращении одиночными винтовочными выстрелами у самой линии фронта, всего лишь в нескольких стах метров от нее. Самолет совершил вынужденную посадку на снежной поляне, двое летчиков остались невредимы-

ми и, подав сигнальную ракету, стали отходить к своим. Но подросли наши солдаты, в завязавшейся перестрелке один из летчиков был убит, другой ранен в бедро и взят в плен. Между тем противник по сигналу открыл минометный огонь и уничтожил самолет. Пленного летчика допросили сразу же еще в штабе полка, а теперь, наскоро перевязанного, привезли ночью в штаб дивизии.

Переводчиком я оказался плохим, совершенно не владевшим ни специальной военной терминологией, ни элементарными знаниями о финской армии. К тому же я успел проучиться в школе на финском языке всего лишь пять классов, после чего учился только по-русски, и мой финский язык как бы законсервировался на подростковом уровне и не только не развивался, но даже забывался. Все это я уразумел только впоследствии, много лет спустя, а тогда и сам был удивлен своей языковой беспомощностью, не ожидал такого от самого себя. Но кое-как дело все же обошлось, благо с той же целью, кроме меня, был приглашен еще солдат-кареп. Допрос длился недолго, не более часа. Пленный летчик отвечал на вопросы неохотно и односложно; по обнаруженной у него карте с пометками он отказывался дать какие-нибудь пояснения, сославшись на то, что это была карта его командира и что сам он летал на задане в первый раз. Видимо, рана беспокоила его, он спросил, скоро ли его госпитализируют и что с ним вообще будет. Комдив закончил допрос, и пленного повезли в госпиталь.

Другим памятным для меня событием тех месяцев была неожиданная гибель комдива — именно в связи с его трагической гибелью мне запомнилось и его имя: комдив Ковалев (хотя с абсолютной твердостью не ручаясь, все-таки прошло более полувека). Он погиб вместе с двумя другими командирами на наблюдательном пункте артиллерийского полка. НП находился на самом берегу Свири, на чердаке каменного здания бани. К тому времени линия обороны стала уже устойчивой, противник на противоположном берегу реки успел приглядеться к нашим позициям, и когда на НП зашла большая группа командиров, трое из которых поднялись на чердак, раздались орудийные выстрелы прямой наводкой. Погибли комдив, командир артполка и командир артдивизиона. В штабе дивизии потом долго говорили, что это была роковая и трудная объяснимая оплошность: в светлое время дня, на виду у противника направиться группой на НП и заплатить за это жизнью. К вечеру в штаб привезли окровавленные трупы погибших, мне с двумя солдатами было велено обработать их, скрепить бинтами раздроблен-

ные части изуродованных тел, и назавтра состоялось торжественное погребение с воинскими почестями.

Напротив нашего маленького блиндажа на двух-трех человек располагался огромный блиндаж дивизионной разведроты. Иногда меня посылали туда делать мелкие перевязки, и я был немножко знаком с солдатами. Для контраста скажу, что однажды для перевязки к нам в начсандивский блиндаж привели в сопровождении часового трех «самострелов» из дивизионного КПЗ; у всех у них были ранения в руку — наиболее частый способ умышленного членовредительства. Запомнился мужчина лет сорока пяти, его изуродованная кисть была плохо ухожена, два пальца уже оторвались, и я, не утерпев, спросил, как же это случилось, на что он как-то уж очень просто, даже простодушно и с сожалением ответил: «Да вот дурь в голову ударила». Для меня это был наглядный пример того, что бывает, оказывается, и самострелы, которым изменило самообладание. После этого случая солдаты разведроты внушали мне еще большее уважение, для меня это было элитное войско, почти каждый вечер от них уходили группы на задание и не всегда все возвращались. Хотя линия фронта по Свири уже стабилизировалась, но для дивизионной разведроты эта окопная война не означала покоя, в ночной темноте по открытому льду реки они должны были ползком пробираться к передовым постам противника, и в случае неудачи их под осветительными ракетами и пулеметно-минометным огнем пытались отрезать от своих. Когда мне случалось изредка зайти вечером в блиндаж к разведчиком по какому-нибудь делу, то по каким-то едва заметным особым приметам — по тягостному молчанию лежавших на нарах, но не спавших солдат, по самоуглубленному погружению вовнутрь себя перед чем-то важным для каждого из них — можно было догадаться, что ночью им, наверное, предстоит тяжелый и опасный поход.

Поскольку они были нашими соседями, в моих кратких разговорах с начсандивом за утренним или вечерним чаем иногда упоминалось о них. Инстинктивно чувствуя неопределенность своего положения, я как-то осмелился сказать, даже не вполне всерьез и попросту не веря в такую вероятность, а лишь желая скорее узнать ответную реакцию: «Может, мне попроситься санинструктором в разведроту?» Начсандив посмотрел на меня и, похоже, тоже не принял мои слова всерьез, посоветовав не лезть на рожон и присовокупив еще и поговорку: от службы не отказывайся, но на службу не навязывайся.

А в феврале 1942 года неопределенность кончилась — меня откомандировали из действующей армии в тыл. Сразу об этом, разумеется, не сказали, а просто велели отправиться на сборный пункт при штабе армии. Начсандив попрощался со мной, сказал, что сожалеет об уходе, и пожелал успешной службы на новом месте. Где она будет проходить, он едва ли мог знать. А мне и мне подобным, с которыми я скоро встретился, оставалось только гадать о нашем ближайшем будущем.

На сборном пункте при штабе армии выяснилось, что нас, с финскими фамилиями, собралось человек тридцать. В большинстве это были люди чуть постарше меня, но были два совсем молоденьких младших лейтенанта в новехонькой комсоставской форме. Видимо, они только что успели кончить училище и прибыть в часть, а тут — обратный ход. По их рассказам, они родились и выросли в Кронштадте, ни слова не понимали по-фински, да и внешностью на финнов не были похожи, чернявые и смуглые брюнеты. Но у них были финские фамилии, и это окончательно утвердило всех нас в мысли, что именно из-за наших фамилий для нас приготовлено нечто особое. Впрочем, младших лейтенантов от нас вскоре куда-то отсортировали, а остальных посадили в товарный вагон и повезли на восток.

3. В строительном батальоне

Километрах в пятидесяти от Вологды, в Грязовецком районе, был совхозный поселок (под названием Бушуиха, если не изменяет память), и там располагался один из строительных батальонов управления аэродромного строительства (сокращенно УАС) Ленинградского фронта.

Несколько таких батальонов было сформировано вскоре после начала войны, и вошли в них на первых порах в основном ингерманландские финны, реже эстонцы и немцы Ленинградской области. Как можно было понять, за ними не числилось каких-либо политических прегрешений, просто они попали в эти батальоны по национальному признаку. Впоследствии я встретился при объединении двух стройбатов со своим двоюродным братом, до войны он был рядовым колхозником, отслужил действительную службу в армии, но с началом войны попал в стройбат, а после войны его не пустили жить на родину (редкие исключения делались только для инвалидов войны), и в родную деревню он смог вернуться только в конце 1950-х годов, перед своей кончиной.

Вообще тут не было достаточной определенности — кого брали в действующую армию и кого не брали. Даже внутри одной семьи наблюдались разницей. Как уже говорилось, из нас, четырех братьев, старший прослужил всю войну на фронте. Другого брата, Юхо, эвакуировали с семьей в Коми республику, оттуда мобилизовали в какую-то трудовую часть, и там он бесследно исчез, скорее всего погиб от голода и болезни, никаких сведений о нем жена не смогла добыть. Третий брат, Александр, оказался в начале войны на сенокосе в Архангельской области, куда был командирован своей карельской производственной организацией; вскоре его отправили на лесоповал, лишив права выезда. Он сумел выжить, вернулся в Карелию и прожил еще сорок с лишним лет.

Подобное происходило и с другими семьями. Я знал ингерманландских финнов, в том числе моих родственников, которые всю войну прослужили в артополках на фронте. А наряду с этим многих отзывали из действующей армии, как и меня с моими спутниками, которым вплоть до последнего момента избегали говорить, куда же их направляют.

Наша команда прибыла на место назначения поздно вечером; в темноте, при свете коптилки в большой казарме с двухъярусными нарами было трудно что-либо разобрать, к тому же мы сильно устали после пешего хода по сугробам, и как только нам указали место на нарах, завалились спать.

Новые события начались для нас рано утром. После зычного крика «Подъем!», много раз повторившегося, что-то зашевелилось, но никто подниматься особенно не торопился. Сам ритм жизни здесь был, кажется, иной, чем в строевых частях, тем более в учебных, где сержанты требовали молниеносных реакций. Здесь младшие командиры именовались полкомвзводами, они жили отдельно, вставали до общего подъема и теперь ходили вдоль нар, тормозили лежавших и угрожающе выкликали их по фамилиям, направляя побудку крепкими ругательствами. Постепенно люди все же начинали копошиться, с кряхтением и плевками долго одевались, выходили во двор и где-то умывались, после чего в казарме слышалось брэнчание котелков — не армейских, а из больших консервных банок, уже порядком закопченных. Люди выстраивались в проходе между нарами в длинную очередь к раздаточному окну в стене за завтраком. Там что-то разливалось в котелки, судя по испарениям, не очень определенное. Когда подошла и наша очередь, выяснилось, что это была мутная солоноватая вода, в которой плавали редкие крупинки.

Как нам вскоре объяснили, весь дневной рацион питания, кроме пайки хлеба, состоял из такой двухразовой водички, которую и похлебкой нельзя было назвать, ибо на нее выдавалось всего лишь по 30 граммов крупы в день и столько же соли — и ничего больше, без всяких иных добавок и приправ: ни картошки, ни овощей, ни капельки жиров, не говоря уже о мясе или рыбе. К серовато-прозрачной похлебке полагалась суточная норма хлеба в 800 граммов, которая выдавалась накануне вечером, чтобы утром на дележ буханок не ушло слишком много времени и не откладывался выход на работу. Как правило, в тот же вечер хлебная пайка и съедалась, а утром похлебка выпивалась из котелка через край впустую. Для изголодавшегося человека было свыше сил удержаться от искушения и не съесть все разом; вскоре я и сам стал поступать точно так же, несмотря на все свои клятвы поедать положенное разумно по частям. Но наступал вечер, полученная хлебная пайка не давала покоя, после небольшого кусочка хотелось съесть еще чуток, а потом в отчаянии на протяжении вечера съедалось все, иначе невозможно было уснуть.

В течение первых двух-трех стройбатовских недель для нас, прибывших из действующей армии, где солдат кормили все-таки прилично, хлебная пайка была практически единственным питанием, потому что дурно пахнущую соленую баланду на первых порах мы вообще не могли пить — для этого требовалось постепенное привыкание и крайнее истощение, которое на тяжелых физических работах не заставило себя ждать.

Когда при дневном свете можно было уже получше разглядеть людей — не в полумраке казармы, а на открытом морозном воздухе, на фоне снежных сугробов у аэродрома, — это произвело, признаться, удручающее и даже устрашающее впечатление, потому что в этом мы увидели и свое собственное будущее, по меньшей мере, на ближайшее время. В большинстве своем люди были предельно истощены, с серыми лицами и потухшими глазами, вялыми движениями и душевной усталостью. Нам рассказали, что за ту зиму 1941—42 годов уже десятки людей в батальоне умерли от истощения, и в это можно было поверить. Но примириться с этим трудно. Погибнуть на поле боя — понятное дело, война. Но согнуть голодной смертью в глупом тылу — это не укладывалось в голове. До сих пор самым трагическим моим воспоминанием о стройбате остается медленное умирание истощенных людей, в большинстве своем юных, хотя были и с

опытом жизни, но все равно не выдержавших чрезмерных испытаний.

Судя по рассказам, самая высокая волна смертности была до нашего прибытия в стройбат, но и при нас — даже летом и осенью 1942 года — умирали от голода, хотя кормить старались уже чуть-чуть получше: собирали крапиву, выдавали больше круп, иногда даже немного мяса, если выделенным охотникам удавалось убить лосей. Все мы сильны задним умом, но стройбатовцы уже тогда говорили: зачем голодать всему личному составу в 600—700 человек на протяжении года, если вокруг пустуют колхозные земли, на которых несколько десятков тех же стройбатовцев могут вырастить урожай для всех? Да что задавать запоздалые риторические вопросы, обращенные в прошлое, — разве меньше их у нас теперь, через полвека по окончании победной войны, когда ее участникам до сих пор выдают нормированные пайки, считающиеся к тому же великим социальным достижением и привилегией.

Но вернемся к тому морозному февральскому утру 1942 года, когда строительный батальон, и мы в его составе, готовились выйти на работу. Впрочем, немало людей из самых истощенных продолжали лежать на нарах и на все пофамильные окрики помкомвзводов отвечали, что они больны и встать не могут. Им резко возражали, что в санчасти их больными не признали и освобождения от работы не дали — в списке освобожденных их фамилии не значатся. Поясню, что потом я сам служил в батальонной санчасти и знал, что командованием устанавливался строгий лимит освобожденных от работ, — иначе медики могли освободить весь изголодавшийся батальон. Споры помкомвзводов с ослабевшими людьми иногда кончались ужасными сценами, их таскивали с верхних наров, вслед швырялась на пол их обувь и одежда, но и это не всегда помогало.

В восемь часов утра, еще в зимней тьме, колонны выстраивались на работу. В ту пору батальон строил в нескольких километрах у аэродрома бревенчато-земляные защитные стоянки для самолетов. Стоянки имели форму полукруга, валы были высотой примерно в два метра. Зима была очень суровая, земля промерзла глубоко, а работали только ломами, кирками и лопатами, возили землю наверх на тачках, никаких механизмов не было. В армейской шинели работать было неудобно, да и зябко потному во время перекуров на крепком морозе. Ватными фуфайками или бушлатами мы еще не обзавелись, рабочей одежды в стройбате не хватало, все ходили кто в чем. В итоге уже через две-три недели я сильно простыл и с

высокой температурой побрел в санчасть.

Больных принимал фельдшер, народу было много, разговор с каждым был поневоле весьма коротким и кончался, как правило, просьбой больного дать освобождение от работы. Удовлетворить всех фельдшер не мог, и когда дошла моя очередь пожаловаться на сильную слабость, он мельком посмотрел на мое еще не очень исхудавшее к тому времени лицо и сказал, что я в состоянии работать. Я же возразил, что у меня температура, пусть дадут термометр. Жар оказался под сорок, и меня тут же решили госпитализировать — в батальоне были подозрения на начавшийся сыпной тиф, и подозреваемые больные подлежали изоляции.

На следующий день меня отвезли на попутных дровнях в небольшую сельскую больницу, где размещался батальонный стационар. В деревянном домике на пригорке была всего одна комната-палата с пятью койками. Мне досталась койка у запертого окна, остальные были уже заняты.

Через несколько дней жар спал, самочувствие улучшилось, можно было оглядеться вокруг и убедиться, что скромная сельская больница находилась на очень симпатичном месте, и после казармы все выглядело прекрасно. Беспокоила только мысль, что же будет дальше после возвращения в казарму и как я выдержу такую жизнь, неужели и меня будут сбрасывать с верхних наров и гнать на работу.

Однако при врачебных обходах у двух больных обнаружилась явная сыпь, заметная и неопытному глазу. Тем не менее между врачом и фельдшером возникли разногласия на сей счет, которых они не скрывали от больных. Врач, более молодой, но отвечавший по должности за общее санитарно-эпидемиологическое состояние батальона, все чего-то медлил, боясь доложить о вспышке тифа по инстанциям, за что его могли и взгреть. В конце концов больных с сыпью все-таки увезли в областной госпиталь, вскоре исчез и врач, а на всех нас положили длительный карантин.

Еще при первом лицезрении подозрительной сыпи на коже соседей это явилось для меня сигналом для бдительной охоты на вшей в моем собственном белье и ближайшем окружении. Со швистостью дела в батальоне были очень плохи, просто ужасны. Никогда в жизни я не видел столько вшей — и на других, и на себе, когда предельно ослаб и не мог с ними иначе бороться, кроме как содрав с себя в холодной и огромной палатке (в которой мы тогда жили поздней осенью) нателное белье, чтобы тереть его швами о раскаленную печь из металлической бочки.

В поселке Бушуиха, где мы первоначально располагались, коммунальная баня была плохая, стройбатовцы мылись в ней редко, их одежда не дезинфицировалась. Сам казарменный быт в тех условиях не позволял избавиться от заразы. К этому следует добавить, что в той части Вологодской области, где мы тогда находились, в деревнях почти не водилось бань, крестьяне привыкли издавна париться в русских печках и окатываться водой.

Но у миленькой неказисто-серенькой сельской больницы на отшибе оказалась своя баня, и это было счастьем. Поскольку я уже поправился и находился под карантинном, мне велено было помогать больничному санитарному в борьбе со вшами — мы прокипятили в котлах все нательное и постельное белье, прожарили одеяла, подушки и одежду. А для матрацев и прочих громоздких предметов нам дали даже лошадей с дровнями, чтобы съездить на дезинфекционный пункт.

На фоне невзгод и печалей очень мне запомнились те солнечные мартовские дни с сухим морозцем и искрящимся настом вокруг: была такая белизна и ширь, так свободно дышалось после душной казармы с истощенными хмурыми лицами. Мой напарник, вятский паренек, тоже был молод, нам было весело ехать по снежному полю — для веселья в юности немного нужно. И хотелось жить вопреки всем невзгодам.

Как-то во время нашего карантина, когда мы успели уже основательно обработать наши помещения, к нам приехал попариться в бане командир батальона. Я увидел его впервые: это был крупный мужчина средних лет, довольно упитанный и цветущий. Вообще комсостав в стройбатах жил по военным условиям весьма прилично, во всяком случае от хронического недоедания не страдал. Это касалось и технического персонала управления аэродромного строительства, который был на положении гражданских лиц. Сюда входили инженеры, техники, проектировщики, прорабы, финансовые работники. Преимущественно это были ленинградцы, они жили на квартирах семьями, имели свою систему снабжения, для беделог-стройбатовцев это была руководящая элита.

Баня для комбата была приготовлена к назначенному часу, однако он пожелал дать ей еще дозреть и посидел у нас в комнате, а после мытья зашел снова, чтобы обсушиться перед отъездом. Он поговорил с нами, спросил, сколько мне лет, и сказал, что у него в таком же возрасте сын. Похоже, по ассоциативной связи с сыном он проявил ко мне чуть больше любопытства, узнал, что я

окончил десятилетку, прошел курсы санитарных инструкторов и только недавно прибыл по какой-то причине сюда в батальон, а теперь вот заболел, нахожусь под карантинном и помогаю по стационарному хозяйству. Выслушав все это, он окинул меня взглядом и сказал, что выяснит, нельзя ли меня оставить при санчасти.

Для меня это была надежда, к счастью, оправдавшаяся. Я был оставлен при санчасти и всю весну 1942 года провел в той самой сельской больнице, где был батальонный стационар. За три с лишним километра мы каждый день носили на себе пищу больным из батальонной кухни, вели все хозяйство, раздавали лекарства, а по вечерам я ходил в батальонную санчасть помогать фельдшеру в амбулаторном приеме больных.

Беготни и забот хватало, чувство голода и теперь преследовало беспрестанно, однако голод и истощение уже не угрожали в такой степени, как на тяжелых земляных работах.

Скажу для ясности, что только сытый циник из комсостава или техперсонала мог заявить истощенному стройбатовцу: «А что, тебе восемьсот граммов хлеба в день — мало?» Верно, что при такой хлебной норме, даже без другой пищи, но и без тяжелых физических нагрузок, можно и не умереть от истощения. Но если ты каждый день по 10—12 часов долбишь ломом мерзлый грунт или выгребашешь большой совковой лопатой тяжелую глину из двухметровой траншеи, то на одном таком хлебном пайке долго не протянешь, а будешь таять на глазах и за месяц-другой дойдешь до последней степени дистрофии, после которой надежд на спасение уже мало. Вероятным исходом были угасание и смерть — всех таких трагедий во время войны не счесть.

Поэтому в стройбате твоя жизнь в небольшой степени зависела от того, на какие работы и на какое время тебя посылали. Отношения между людьми были суровыми, на клички не скупилась, и тех, которые были на работах полегче, называли «придурками» — это лагерное, зековское словечко. К «придуркам» причислялась вся обслуга — повара, кладовщики, писари, парикмахеры, портные, шившие для начальства, дневальные у комбата и комиссара и, разумеется, санитарные работники тоже. На этой должности я удержался, впрочем, недолго и отчасти по собственной вине.

В апреле 1942 года стройбат оставил Грязовецкий район (земляные стоянки для самолетов, видимо, так и не понадобились) и расположился километрах в десяти от станции Бабаево, уже у границы Ленинградской области. Построили в лесу землянки для всего личного состава, в том числе для ко-

мандиров, только техперсонал жил в ближайших деревнях, в деревенской же избе находилась и санчасть. В двух-трех километрах от расположения батальона строился аэродром, который к зиме уже вступил в эксплуатацию; там стоял авиапункт; в снегопады и метели батальон круглосуточно чистил летные полосы.

В личном составе батальона к тому времени произошли существенные изменения. Большую группу людей, в основном финнов, увезли куда-то далеко на восток, — как потом выяснилось, на южный Урал, в Гурьевскую область, где шли большие строительные работы на нефтепромыслах.

А в стройбат поступило пополнение в основном из местных людей, признанных непригодными к строевой службе в действующей армии. Многим из них было уже лет по пятьдесят, а то и больше, к ним приезжали родственники из вологодских и вятских деревень, привозили кое-какую еду, что было тогда спасением.

Но люди требовались и для фронта. Как известно, лето 1942 года было во всей войне самым трудным и напряженным — немцы рвались к Сталинграду, исход битвы оставался неясным, людские потери были огромными. Эта предельная напряженность общего положения на фронте сказывалась и на стройбатовцах в тылу: было очень невесело на душе, все жили в ожидании роковых поворотов событий.

В июньский день в расположение батальона приехала комиссия по набору на фронт. Всей батальонной обслуге, которая была на месте, а не на аэродроме, приказали пройти комиссию до возвращения основного состава с работы. Послушный приказу, я явился на комиссию и вроде бы прошел ее. Мне дали бумажку, с которой я должен был идти в Бабаевский райвоенкомат для дальнейшей отправки в действующую армию.

Сдав дела по санчасти, я заявился в райвоенкомат, но там, взглянув на мою бумажку, выразили удивление: «Разве они не видели, что вы — финн? Возвращайтесь обратно в свой стройбат».

Обратный мой путь был, конечно, более чем унылым. Вдобавок к очередной зуботычине из-за своей фамилии и национальности я лишился места в санчасти, куда уже взяли другого человека, и меня ожидали общие работы. Знакомые стройбатовцы удивились моему возвращению, и непонятно было, то ли они сочувствовали, то ли любопытствовали с ухмылкой.

Меня определили в бригаду землекопов, где старшим был некий Бокарев, очень своеобразный и колоритный человек, с которым довелось познакомиться поближе. Ему бы-

ло лет двадцать восемь, мне он казался опытейшим и бывалым мужчиной, и таким он был на самом деле. До войны, по его рассказам, он копал колодцы где-то по деревням Рязанской области и тем добывал себе пропитание, получая одновременно удовольствие от частой перемены мест. Физически очень сильный человек, он умел работать споро и с азартом на самых тяжелых работах и искусно подбадривал других не только своим примером, но и метким словом. При нем было как-то неловко показывать свою немощность и хотелось доказать, что ты тоже можешь. Кроме того, он обладал талантом как-то устраивать свою жизнь на любом месте и оставаться недосягаемым для худших невзгод. В ближайших деревнях у него водились знакомые женщины, часто появлялись откуда-то и деньги, и дополнительный хлеб, и табак, причем случалось, что он широким жестом одаривал этим менее предприимчивых стройбатовцев-соседей. Он отнюдь не был добрым дедом Мазаем для всех, в обиду себя не давал и умел обложить любого обидчика крепким матом, но жила в его душе какая-то широта и человечность. Поздно вечером он часто уходил играть в карты к летчикам — у тех было много денег, им платили дополнительно за боевые вылеты. Со временем он стал брать и меня с собой, и я тогда впервые столкнулся с азартной карточной игрой взрослых людей, за которыми было интересно наблюдать с чисто психологической точки зрения, как кто проигрывал и как кто выигрывал — это были целые драмы с завязками и кульминациями, в которых проявлялись человеческие характеры. Случалось, за картами просиживали всю ночь, в свою землянку возвращались как очумелые, и вскоре я должен был отказать себе в этом удовольствии. Мой бригадир звал меня «малый», чувствовалось, что он был готов опекать меня. Он умел утешать и, зная о моем неудавшемся уходе на фронт и бесславном возвращении, говорил: «Ну, малый, зачем тебе обязательно на фронт — лучше потерпи здесь, глядишь, и уцелеешь». Потом, когда мы уже расстались с Бокаревым, я вспоминал о нем, не зная, что приключилось с ним дальше. Батальон наш не раз формировали заново, часть людей отсылали в другие стройбаты, часть направлялась, возможно, на фронт, и неизвестно, уцелел ли Бокарев. Во всяком случае, мне он преподнес свою науку жизни, которая оказалась, однако, мне не по плечу и не во всем подходила.

Теперь вернусь еще к 1942 году, когда мы были вместе. На тяжелых общих работах я выдержал конец лета, а осенью нас послали на станцию Бабаево грузить в желез-

нодорожный товарняк каменноугольный шлак для покрытия летних площадок. В сутки подавали в тупики по два состава, на каждую платформу или крытый вагон полагалось по два-три человека, шлак возили из отвалов по трапу тачками. Поначалу катать тачки было даже весело, но по мере того как шлак из отвалов выбирался и образовывались глубокие ямы, трап становился все круче, и через две-три недели круглосуточной работы с небольшими перерывами для сна и скудной еды стала чувствоваться усталость. Железнодорожники требовали работать в темпе во избежание простоя вагонов. Во время погрузки в воздухе висела шлачная пыль, в глубине отвалов шлак еще искрился, он был горячий, и в холодные ночи некоторые из очень уставших забирались в ямы, чтобы немного вздремнуть в тепле, и чуть не отравлялись от угара и пыли.

К концу второго месяца погрузочных работ я был уже так измотан, что больше не мог толкать свою тачку, и сказал об этом опекуну-бригадиру. Самовольно покидать погрузочную команду было настроено запрещено, и он сказал мне: «Малый, потерпи еще немного, скоро эта шлакопогрузка кончится, и мы все уедем». Он предлагал мне немножко передохнуть, сам работал за двоих, но мне это не помогало — как землекоп и грузчик я был уже конченный человек, хотя бы на время. Состояние мое быстро ухудшалось, дело дошло до того, что я мог передвигаться только с палкой, психика была подавлена, никакие уговоры уже не действовали, и однажды темным вечером, когда подвернулся попутный грузовик, я сказал бригадиру, что уезжаю в расположение батальона, чтобы посетить санчасть.

Фельдшер дал мне на несколько дней освобождение, посочувствовал моему положению, и я отправился в свою землянку лежать на нарах и обдумывать, что же мне делать дальше. К тому времени я уже навиделся предельно ослабших дистрофиков, у которых едва прощупывался затухающий пульс, а к иным помощь поспевала так поздно, что и челюсти уже нельзя было разжать, чтобы влить бесполезную порцию глюкозы, если иных средств не было. Я, конечно, не был никаким медиком, но видел, как умирали истощенные люди, и для меня это было достаточным предупреждением, чуть ли не последним звонком о надвигающейся опасности.

Окончательным сигналом для меня стал маленький эпизод, смысл которого едва ли смогу донести до сегодняшнего читателя, — настолько он привязан к тому голодному и жуткому времени.

Выпал уже снег, было раннее воскресное

утро, мне не спалось, и я решил выйти из душной землянки на улицу, чтобы подышать и немного обтереть лицо свежим снегом. Во мне была такая слабость, и мое лицо на холоде стало таким бледным, что когда я вновь вскарабкался на верхние нары, двое неспавших напротив стройбатовцев из местных вологодских колхозников заметили при свете копилки эту мою смертельную бледность, и я услышал шепот одного другому: «Смотри — этот уже не жилец». Они, эти люди значительно старше меня, тоже уже навидались угасающих дистрофиков, к которым они теперь причислили и меня.

Этот шепот обжег меня, заставил откинуться на нары и заскрипеть зубами; сознание на миг застыло, чтобы тут же нервно затрепыхаться в отчаянном протесте: не хочу умирать, от голода не хочу умирать!

Постаравшись успокоиться и все трезво взвесить, я поковылял с палочкой днем в деревню, разыскал несколько листов бумаги с чернилами и ручкой и сел писать нечто вроде докладной, а проще сказать, письмо своему батальонному начальству. Оно состояло из комбата и комиссара. По должности вроде бы комиссар должен был быть более открыт и доступен для откровенного разговора с рядовым солдатом, но почему-то не хотелось к нему обращаться. Может быть, потому, что политработники в стройбатах создали о нас плохую славу среди местного населения, с которым они считали своим долгом вести беседы. Конечно, бедолаги-стройбатовцы в поисках дополнительного питания отчасти беспокоили окрестные деревни — ходили туда обменивать на хлеб какие-нибудь свои поделки, занимались за обед окуривать и копать картошку, иногда отваживались и на мелкое воровство; молодые парни, если у них хватало на то сил, порой посещали деревенские вечеринки и танцевали с девушками, чему те были очень рады. Эти контакты не нравились батальонным политработникам. Один из них в беседе с местными жителями даже выразился таким образом, что им следует избегать «белофиннов» — молва об этом быстро дошла до самих виновников и вызвала ответную реакцию.

Новый комбат производил несколько иное впечатление. Он был более молчалив и уже по должности не обязан был произносить длинных речей; на гражданке, по рассказам, он был толковым инженером, и это сочеталось с его обликом. Наверное, и он не был идеальным человеком — святые и безгрешные люди, как известно, бывают только в житийной литературе о старцах-богомольцах и разве что в плохих романах. Стройбатовцы знали, что у комбата, как и у

комиссара, было на содержании по любви на деревенской квартире, и по вечерам их частенько видели странствующими труда вместе. И, разумеется, про обоих стройбатовцы говорили всякое — куда от этого денешься!

Но, видимо, в моем отчаянном положении я инстинктом улавливал разницу: есть люди небезупречные, но сохранившие человечность, и есть прожженные болтуны-циники, которые и ухом не поведут, когда ближнему надо помочь. Словом, в моем письме комбату, тщательно обдуманном и много раз переписанном, я постарался по возможности кратко объяснить свое крайнее дистрофическое состояние и нежелание умирать. Свой треугольничек я отнес старичку-дневальному комбата в его землянку и попросил вручить в подходящую минуту, что и было обещано добрым человеком. Несколько дней я пролежал в ожидании на нарах, на работы меня пока на посылали, но потом наступила авральная снежная пурга, и на ночь сам комбат обходил землянки, чтобы поднять людей для срочной очистки аэродрома. Я следил за ним и, когда в землянке стало уже редеть, заметил, что он отыскивает кого-то глазами, и подумал, что это, наверное, меня; подойдя ко мне, уже поднимавшемуся с нар, он сказал, чтобы я тоже собрался вместе со всеми, а дальше можно что-нибудь придумать. Я действительно сходил в ту ночь на аэродром, надежда прибавила сколько-то сил. При авралах это повторялось, но в остальные дни меня оставляли на более легкие хозяйственные работы в расположении батальона, я убирал в землянках, топил печи, дезинфицировал одежду в банные дни.

Может быть, сегодняшнему читателю покажется, что я уж слишком акцентирую тяготы и даже смертельные исходы в тыловых частях. Но что поделаешь, так это навсегда врезалось в нашу память, память бывших стройбатовцев, и для нас всякое иное повествование о войне, без пережитого и выстраданного нами самими, — это фальшь, предвзятое умолчание.

С точки зрения человечности, самым пригорбным на войне, наверное, было то, что смерть становилась до ужаса привычной и обыденной, — разве мы не ощущаем этот ужас до некоторой степени и сейчас, когда кругом ежедневно гибнет столько людей?

В стройбатах люди умирали внешне негероично, но смерть всегда таит в себе человеческую трагедию. Изголодавшиеся люди, желая хоть как-то продлить свою жизнь, собирали по весне дикие травы и первые сморчковые грибы, копались у скотных дворов в поисках заваливавшегося комбикорма,

пили просто соленую воду для утоления чувства голода. Роман «Голод» Кнута Гамсуна и «Мартин Иден» Джека Лондона — это талантливые вещи из мировой классики, но в чисто физическом отношении и по своим гибельным последствиям стройбатовский и тем более блокадно-ленинградский голод наверняка превосходили муки литературных героев. Голод и чувство тупика могли довести до безумия, и наиболее беззащитными оказывались очень честные люди, не способные ни на воровство, ни на какую-нибудь маленькую хитрость. Помню жуткую сцену на строймешине летнем поле, где вручную молотами дробили щебенку для покрытия. Совершенно исхудавший, похожий на живой скелет, обтянутой бледной кожей, средних лет мужчина — из числа американских финнов, приехавших к нам в начале 1930-х годов, — сидел в бессильной позе на каменной плите, и перед ним лежала другая плита, которую ему надлежало дробить. От слабости мало уже что смысла в своей работе и совершенно равнодушный к ней, он машинально, очень медленно и с надрывом силлся поднять дрожащими исхудалыми руками тяжелый молот и стол же бессильно и безразлично опускал его, приговаривая, словно ведя счет ударам: в Америке у меня был дом — р-раз; в Америке у меня была машина — д-два; в Америке у меня была еда — тр-ри! Глаза его уже утратили блеск жизни и почти обезумели, его уже нельзя было остановить, и он сам не мог остановиться. Свой счет ударам он вел по-фински — ни английский, ни русский язык ему не привились и теперь были безразличны, он угасал с родным языком под ударами несложившейся судьбы. Ведь в Россию он приехал когда-то строить новое общество.

Но уже хватит и в самом деле о стройбатовской эпопее на сей раз. Упомяну только, что наш славный батальон, не раз еще пополнявшийся и пересортировывавшийся, с менявшимся начальством, побывал еще под Боровичами, очень милым и симпатичным городком в Новгородской области, затем в Вартимяки под Ленинградом, куда мы попали уже после прорыва блокады. Всюду батальон обслуживал военные аэродромы. А весной 1944 года меня командировали переводчиком при штабе Ленинградского фронта, и это стало как бы началом моего возвращения в действующую армию. Когда война с Финляндией кончилась и в начале сентября 1944 года было подписано перемирие, я оказался вскоре в стрелковом полку, где мне впервые за всю войну вручили оружие — не только автомат, но и тяжелый станковый пулемет, наводчиком которого я был зачислен.

4. Последний день войны на Курземе в Латвии

Зиму 1944—45 годов наша часть провела в казармах Выборга, после перемирия с финнами фронтовики могли немного отдохнуть, а чтобы отдых не слишком затянулся, командованием довольно часто устраивались многодневные тактические учения широкого масштаба.

Солдаты ползали по сугробам в открытом поле и по льду озер, таская за собой тяжелое оружие, а поближе к весне под толщей снега стала скапливаться уже талая вода и можно было по пояс провалиться в полевую канаву и завязнуть в тяжелой ледяной шуге. За день такого ползания одежда и обувь промокали насквозь, обсушиться было негде, разжигать костры запрещалось даже ночью для соблюдения полной маскировки, и в общем-то эти учения тяжело доставались. Фронтовики роптали: какого дьявола — разве мало мерзли на передовой?

Но война еще не кончилась, солдат к чему-то готовили, на казарменном положении дисциплина заметно устрожилась, за вольности и пререкания с командирами полагалась гауптвахта, о которой фронтовики на передовой успели забыть. Между прочим, они были очень чутки к едва заметным переменам в поведении комсостава, когда дело приближалось к отправке на фронт. Неопытный глаз мог ничего и не уловить, но фронтовики знали, что за неделю-другую до отправки изнурительная муштра обычно уже прекращается, даже самые придирчивые командиры становятся добрее, забывают о строгой субординации и вспоминают о фронтовом товариществе. Это было одним из верных признаков того, что скоро предстоит отправка туда, где стреляют и где не должно быть взаимных обид. На сей счет меня просветили рассказы фронтовиков, и они же проиллюстрировали это на конкретных примерах, когда в нашем казарменном быте стали ощущаться вдруг перемены.

В апреле 1945 года наш полк вместе с другими частями, дислоцированными в районе Выборга, погрузили в железнодорожные эшелоны и повезли через Ленинград на запад в неизвестный нам пункт назначения.

Уже в те дни ощущалось, что весна 1945-го будет весной Победы, в пути мы узнали, что пал Берлин. Вот-вот все должно было кончиться, но куда же нас везли? И что предстояло нам у самой финишной черты?

Нас высадили неподалеку от Тукумса, маленького латвийского городка к северо-западу от Риги. Не успели расположиться, как поступил приказ марш-броском двигаться дальше, и за двое суток мы прошли около

ста километров в направлении к Лиепая, другому латвийскому городу на противоположном берегу Курземского полуострова. Еще раньше нам стало известно из сводок Совинформбюро, что в ходе наступления советских войск дальше на запад вдоль балтийского побережья на Курземском полуострове была зажата и изолирована с суши большая немецкая группировка — всего 33 дивизии, около 180 тысяч солдат. Линия фронта проходила как раз в направлении Тукумс — Лиепая. В течение многих месяцев наши войска держали здесь оборону, не предпринимая пока крупных наступательных операций по уничтожению группировки. Теперь же, в последние недели войны, решено было разгромить ее, чтобы приблизить общую капитуляцию Германии.

Все это нам объяснили после того, как мы расположились в лесу под Лиепая в ожидании дальнейших событий. Люди отдыхали после утомительного марш-броска, они были в пыли и поту — ведь многим из них было уже за пятьдесят, некоторые истерли ноги, иные отстали в пути, и их подбирали повозки. В лесу мы обосновались, должно быть, 6 мая, предполагалось, что наступление начнется не сегодня завтра, и нашему корпусу отводилась роль второго эшелона, который вводился в бой после прорыва обороны противника передовыми частями.

Наконец утром 8 мая нам объявили, что все должно начаться сегодня. После авиационной и артиллерийской подготовки в бой вступят танковые и стрелковые соединения, а потом введут и наш корпус. В тот день Тукумс, как потом выяснилось, действительно был взят штурмом, и там полегло немало людей. Может быть, именно под воздействием этого мощного удара под Тукумсом на нашем участке до штурма дело не дошло, хотя авиационная подготовка с утра уже велась. Мы внимательно наблюдали, как эскадрилья за эскадрилей с небольшими перерывами пронеслась над нами, а через некоторое время возвратилась. Солдаты считали, сколько самолетов летело туда и сколько обратно, и выходило, что некоторые эскадрильи возвращались неполными. Потом мы воочию убедились, сколь огромное количество зенитных батарей скопилось у немцев на курземской земле. В свое время туда стянули много тяжелой техники отступавших вражеских дивизий; в землю на передовой были зарыты длинные ряды танков, для которых уже не было бензина, а у моря находились мощные орудия береговой обороны.

После авиационной подготовки в семнадцать часов, как нам сказали, должна была начаться артподготовка минут на двадцать,

и мы с возрастающим напряжением ждали этого момента. Каждый, конечно, думал о своих собственных действиях и действиях своих ближайших соседей. Что касается меня, то в реальном бою я никогда не участвовал. В пулеметном расчете нас было всего трое вместо положенных пяти человек, и мы прикидывали так и сяк, чтобы получше управиться с тяжелым станковым пулеметом и кучей коробок с лентами. Солдаты поопытнее говорили, что в бою при перебежках от громоздкого станка вообще лучше отказаться, а стрелять с пеньков и валунов, быстро меняя позиции, чтобы противник не успел засечь и накрыть огнем из миномета или пушки. Но всего не предугадаешь, оставалось ждать непосредственных событий и действовать по обстоятельствам.

Однако в назначенный час артподготовка не началась, вокруг была тишина. Только бегали связные, вызывая командиров рот и взводов, изредка подходили штабные офицеры и что-то объясняли ротным командирам. Уже поздним вечером, перед наступлением темноты, солдатам объяснили, что наступления скорее всего не будет, идут переговоры о капитуляции немецкой группировки на Курземе, некоторые передовые части уже сложили оружие и сдаются в плен. Но нас все-таки предупреждали, что на полуострове могут быть мелкие националистические формирования и группы «власовцев», которые в плен сдаваться не захотят и попытаются прорваться и рассеяться в лесах. Признаться, в это с трудом верилось, настолько насыщены эти леса были нашими войсками. Во всяком случае известие о том, что общего наступления, возможно, и не будет, принесло солдатам великое облегчение. Ведь это были последние дни войны, и умирать под самый конец никому не хотелось.

Наступила темнота, какая может быть в майскую ночь в лесу в Прибалтике. Мы сидели у костра и начинали дремать. Было уже около полуночи, когда наш комзвезда, махнув рукой и устав от ожиданий, велел разгрести костер, чтобы настелить на теплую землю хвой, а сверху плащ-палатку и прилечь. Все было исполнено в точности, я прикомостился рядом с ним и тут же уснул.

Все мы вскочили от страшной оружейной стрельбы, которая раздавалась совсем рядом, буквально в десятке метров, и одновременно стрелял весь лес, пальба все расширялась. В первые секунды мы не могли понять, в чем дело, что случилось. Сквозь пальбу доносились какие-то крики, и скоро они тоже слились в общую волну возгласов, в общий раскат: победа, победа, победа!

Это кричали и салютовали солдаты, узнав

о полной капитуляции фашистской Германии.

Их нельзя было удержать. Крики и пальба в ночном лесу все разрастались, где-то рядом бегал штабной офицер и призывал прекратить огонь во избежание случайных ЧП, но его не слушали. Мы тоже отсалютовали из своих автоматов, восторг охватил всех поголовно.

Никогда не забуду этого чувства в первые минуты наступившего мира, и даже сейчас, полвека спустя, когда вспоминаю ту майскую ночь под Лиепая, меня охватывает глубокое волнение, я заново переживаю все до мелочей. И в то же время это было сложное, выстраданное тяжкими годами чувство, которое в точности уже неповторимо. В нем была и радость общей победы, и зов юной жизни, снова обретшей надежду, и почти телячий восторг от физического ощущения, что все у тебя в целостности — и руки, и ноги, и голова. Хотелось ощупать себя с головы до ног, чтобы окончательно во всем удостовериться и от счастья заплакать. И само-то счастье в ту минуту было физически разлито в твоей исстрадавшейся плоти, его тоже можно было почти пощупать руками, ощутить совершенно конкретно.

На рассвете 9-го мая, где-то в четыре-пять часов утра, полк выстроили на открытой поляне. Командир полка зачитал официальное сообщение о капитуляции Германии, поздравил всех с долгожданной Победой, вспомнил о павших и поблагодарил живых. Полку предстояло отправиться в город Лиепая для охраны объектов, и вскоре нас погрузили в грузовые автомашины.

Вся дорога до Лиепая была заполнена встречными людскими потоками. Навстречу нашей колонне уже двигались десятки тысяч пленных немцев. По обочине дороги тянулась широкая и непрерываемая пешая колонна, конвоируемая нашими автоматчиками. Судя по виду пленных, это были в основном фронтовые части, потрепанные долгой обороной. А по шоссе навстречу нам, почти впритирку с нашими грузовиками, двигались немецкие машины с гарнизонными солдатами, одетыми в новехонькую форму, у них были сытые ухоженные лица. Как мы потом узнали, в Лиепая были склады и с обмундированием, и с продуктами, солдаты гарнизонной службы всем этим пользовались, а перед сдачей в плен особенно. По сравнению с нашими выцветшими гимнастерками, пыльными обмотками и давно не бритыми лицами немцы выглядели прямо-таки картинно. На дороге часто случались заторы, наши машины останавливались борт о борт, и мы с любопытством разглядывали друг друга. Гарнизонные немцы курили прилич-

ные сигареты, кто-то из наших не утерпел, чтобы не попросить жестом покурить, и ему была брошена целая пачка, а поскольку к ней потянулись и другие, немцы достали еще. Было в этом и нечто человеческое, и в то же время унижающее. Наверное, эти щегольски одетые пленные немцы, вплотную столкнувшись с победителями, все еще не могли толком понять причины своего поражения. А между тем навстречу нам везли в отдельных автомобилях и с персональной охраной пленных немецких генералов, которых вместе с их войском на Курземе сда-лось свыше двух десятков.

После всех дорожных заторов в Лиепая мы приехали уже к вечеру. Нашу роту расквартировали на территории маслобойного завода, там были немецкие продовольственные и вещевые склады, которые нам предстояло охранять, и одновременно мы несли береговую охрану.

В ту ночь мы долго не спали, празднуя Победу. Продовольственный склад оказался весьма кстати, там много чего нашлось, включая немецкие вина. При маслобойном заводе был весьма приличный жилой дом с хорошей обстановкой, с роялем в гостиной и оборудованной кухней. Нашлись повара, приготовившие обильный ужин, и даже музыкант, московский паренек, знакомый с клавишами.

Потом мы еще недели две отсыпались и отъедались у трофейных складов, неся нетрудную и неторопливую караульную службу на побережье. Постепенно на улицах Лиепая стали показываться местные жители, и нам приоткрывалась их частная жизнь.

Когда в один из солнечных дней я был на посту у моря и обзирал в перископ из оборудованного окопа песчаный берег, вдаль я заметил двух влюбленных, удобно устроившихся в уединении на чистом песке и всецело поглощенных собою. Они были очень далеко, их лиц нельзя было разобрать даже в перископ, но по их легким движениям можно было догадаться, что они очень молоды и что вся жизнь для них сейчас как любовная игра, словно и не было на Курземе войны. Песчаные дюны сияли покоем в сиянии майского солнца, море чуть колыхалось в безветрии, и даже не верилось, что на израненной земле может быть такая идиллия. Однако же я, солдат, все еще наблюдал эту идиллию из окопа в перископ.

Пора было и солдатам выбираться из окопов и привыкать к естественному ходу мирной жизни. А война была у каждого своя, и забыть о ней невозможно.

И не забыть того, что где-то лежат миллионы павших и что с каждым годом множатся могилы уходящих ветеранов.